# М. Ю. ЛЕРМОНТОВЪ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

**В. П. Авенаріуса.**

Съ 12 портретами и рисунками.

Цѣна 15 коп.

Изданіе книжнаго магазина П. В. Луковникова.
С.-Петербургъ, Лештуковъ пер., 2.
1914.

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Авенариус, Василий Петрович, беллетрист и детский писатель. Родился в 1839 году. Окончил курс в Петербургском университете. Был старшим чиновником по учреждениям императрицы Марии.


- В. П. Авенариус
  - 
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

# В. П. Авенариус
# Михаил Юрьевич Лермонтов

*Биографический очерк*

М. Лермонтов

# I

Как в жилах Карамзина, Жуковского и Пушкина текла отчасти иноплеменная кровь, так точно и Лермонтов, этот ближайший и достойнейший, но рано погибший преемник Пушкина, вел род свой, по мужскому колену, из чужих краев — из Шотландии.

Шотландский историк XVI века Боэций повествует, что король Малькольм, короновавшись 25 апреля 1061 года, щедро одарил землями вельмож, храбростью своею содействовавших ему победить Макбета. В числе награжденных был и шотландец Лермонт (Leirmont), придавший это прозвище одному из дарованных ему поместьев.

Двести лет спустя (в 1286 г.) шотландский бард-пророк — Томас Лермонт — предвещал своему королю, Александру III, скоропостижную смерть, — и на следующий же день король был сброшен испуганным конем в пропасть. Развалины замка Томаса Лермонта видны и доныне на берегах Твида. Знаменитый романист Вальтер Скотт, проведший детство поблизости от тех развалин и построивший впоследствии там же свой роскошный замок Абботсфорд, воспел Томаса Лермонта в балладе в трех частях «Томас-поэт».

Один-то из потомков этой родовитой семьи, Юрий Андреевич Лермонт[1], в начале XVII века переселился сперва в Литву, а оттуда перешел на службу молодого царя московского Михаила Феодоровича. Послушною грамотою царскою от 9 марта

1621 года поручик Юрий Лермонт был пожалован восьмью деревнями и восьмью же пустошами в Чухломской «осаде» Костромского наместничества. От этого Юрия Лермонтова по прямой линии происходит наш русский поэт, как наглядно видно из следующей его родословной:

**Юрий Андреевич Лермонт, поручик в 1621 г; ротмистр в 1633 г.**

**Петр Юрьевич, в 1656-57 гг. воевода в Саранске.**

**Евгений (Юрий) Петрович, стряпчий в 1679 г., стольник в 1686 г.**

**Петр Евтихиевич (Юрьевич), упоминается под 1698 г.**

**Юрий Петрович.**

**Петр Юрьевич.**

**Юрий Петрович, род. в 1787 г., отставной капитан.**

**Михаил Юрьевич Лермонтов, поэт, 1814–1841 г.**

Никогда сам не видав Шотландии, поэт наш не раз тосковал по ней. В стихотворении своем «Гроб Осси ана», прямо называя Шотландию «своею», он говорит, что дух его летит туда, к могиле великого барда —

Родимым ветром подышать
и от могилы сей забвенной
Вторично жизнь свою занять!

В другом стихотворении — «Желание» — он хотел бы «степным вороном» умчаться «на Запад», к «пустому замку предков на туманных горах», где «на древней стене висит их наследственный щит, заржавленный меч и шотландская арфа».

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы:
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.
Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но не здешний душой…
О, зачем я не ворон степной!..

# II

Сведения о родителях Михаила Юрьевича довольно скудны. Относительно его отца (из указа об отставке) видно только, что тот был выпущен в 1804 году из кадет 1-го кадетского корпуса в Кексгольмский пехотный полк прапорщиком, в походах и штрафах не бывал, а 13 декабря 1811 года двадцати четырех лет от роду, за болезнью уволен от службы при том же 1-м кадетском корпусе с чином капитана. Собою Юрий Петрович Лермонтов, как рассказывают, был блондин-красавец, весельчак, добряк, но человек «пустой, странный и даже худой». В имении родственников своих Арсеньевых (в селе Васильевском, Тульской губ.) он случайно познакомился с возвращавшеюся из Москвы в свою пензенскую деревню Тарханы богатою помещицею, «вдовствующей гвардии поручицею»

Юрій Петровичъ Лермонтовъ
(отецъ поэта).

Елисаветой Алексеевной Арсеньевой и семнадцатилетнею дочерью ее — Марьей Михайловной. Старушка Арсеньева, мечтавшая всегда видеть свою единственную дочь замужем за каким-нибудь богачом и аристократом, очень неблагосклонно относилась к этому новому поклоннику дочери, бедному, неродовитому отставному офицеру.

Марія Михайловна Лермонтова
(мать поэта).

Но против ее воли и воли всей аристократической родни брак все же состоялся. Со второго на третье сентября 1814 года у молодых супругов родился сын, окрещенный Михаилом, восприемницей которого была, разумеется, бабушка его, Елисавета Алексеевна. Предоставив зятю управление Тарханами, Арсеньева поручила новорожденного внука здоровой кормилице из своих

М. Ю. Лермонтовъ
около 1823 г.

крепостных — Лукерье Алексеевне и бонне-немке — Христине Осиповне Ремер. Всегда нервная, хрупкая здоровьем, молодая мать будущего поэта, Марья Михайловна, далеко не была счастлива с мужем. Ее находили часто в слезах, и единственным ее утешением было фортепьяно, за которым она сидела по часам с малюткой своим на коленях. Играя, она плакала, и унаследовавший ее нервность ребенок плакал вместе с нею.

Елизавета Алексѣевна Арсеньева
(бабушка М. Ю. Лермонтова).

Не было мальчику и трех лет, как бедная мать скончалась от злой чахотки (24 февраля 1817 г.). Отец, давно не ладивший с тещей, вскоре после похорон жены укатил навсегда из Тархан, оставив маленького сына временно на руках старушки-бабушки, которая как женщина, и притом с большими средствами, естественно, лучше бесприютного вдовца-отца могла воспитать ребенка.

Елисавета Алексеевна Арсеньева была высокого роста, строгого вида, осанистая старуха, с плавною, умною речью; ходила, опираясь на трость, и всем говорила «ты». Только с любимцем-внуком она забывала свою строгость. Вся родня называла ее «бабушкою», а товарищи ее внука по юнкерской школе в Петербурге дали ей впоследствии прозвище Марфа-Посадница.

Когда маленький Мишель стал подрастать, отец неоднократно требовал у тещи возвращения ему сына; но Арсеньева и слышать об этом не хотела, и свидания между отцом и сыном происходили только изредка и урывками. Семнадцати

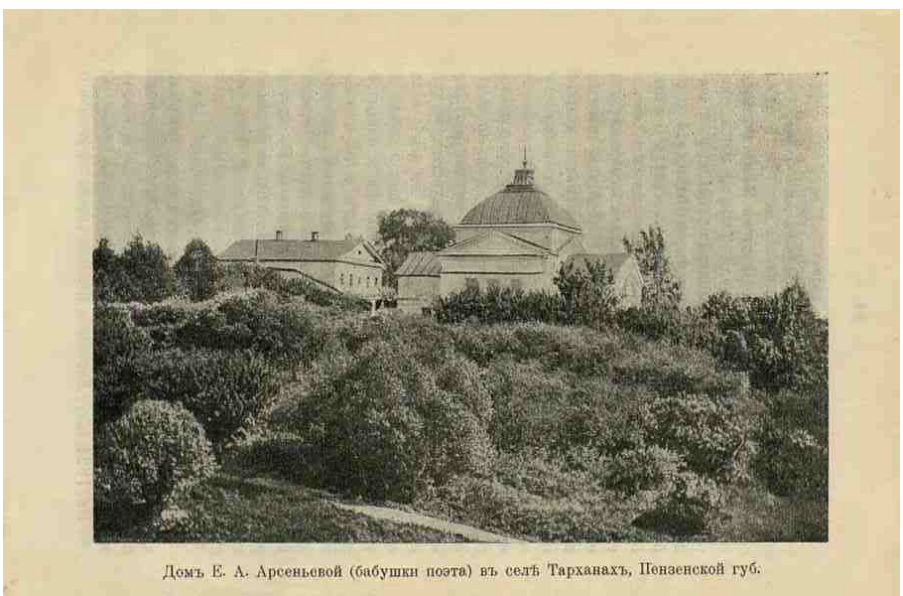
лет Мишель лишился отца, и что утрата эта была ему тяжела, видно из следующих строф, посвященных его памяти:

Ужасная судьба отца и сына —
Жить розно и в разлуке умереть…
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья…
Не мне судить, виновен ты иль нет?
Ты светом осужден…

Но сильно серчать на бабушку за такое отчужде ние его от отца Лермонтов не мог: милая старушка души в нем не чаяла и исполняла всякую его прихоть

Привольно жилось мальчику в Тарханах — и много лет спустя, среди шумной пестрой толпы столичной, перед ним вдруг воскресало его беззаботное детство:

И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают



Домъ Е. А. Арсеньевой (бабушки поэта) въ селѣ Тарханахъ, Пензенской губ.

Вдали туманы над полями.
В аллею темную входу я: сквозь кусты

Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

Телосложения маленький Лермонтов был довольно слабого, косолап и ростом мал. Тем не менее, он отличался всегда между сверстниками бойкостью и шаловливостью. Вначале товарищами его детских игр были дворовые мальчики; а когда ему минуло шесть лет, бабушка Елисавета Алексеевна, желая облегчить ему и сделать приятнее первое учение, взяла к себе в дом еще двух однолеток его — сыновей соседки, племянницы ее Шан-Гирей. Первым учителем и дядькой их был старик-француз Жако, которого вскоре заменил из Петербурга француз же Капэ. Преподавание шло вообще успешно: благодаря своим природным способностям Лермонтов учился легко и в особенности любил рисование; только уроки музыки были для него пыткой. Нрава он был доброго и чувствительного, вежлив и услужлив; но и тогда уже в нем, как общем баловне, проявлялась крайняя настойчивость и упрямство. Так, например, учитель Капэ, большой любитель жаркого из молодых галчат, хотя и убеждал своих воспитанников, что нет ничего вкуснее этого блюда, но отведать его не мог заставить Мишеля, который называл этих птиц «падалью». В другой раз, когда один из маленьких товарищей Лермонтова не хотел исполнить какое-то его требование, тот настоял-таки на своем.

— Хоть умри, но ты должен это сделать!

Игры мальчиков носили по преимуществу военный характер: в саду они возвели батарею, которую потом брали приступом. Ездили они также верхом и, вооруженные детскими ружьями, ходили на охоту.

В 1824 году Арсеньева повезла своего золотушного внука для укрепления здоровья на Кавказские минеральные воды. В Пятигорске они съехались с родною сестрою бабушки Екатериной Алексеевной Хостато-вой, жившей обыкновенно в своем кавказском имении Шелковицы, на Тереке. За неустрашимость свою Хостатова заслужила у соседей название «авангардной помещицы». Дикие горцы нередко делали ночные набеги на Шелковицы, но старушка-владелица, пробужденная набатом, спрашивала только: «Горит, что ли?», На ответ же, что черкесы пошаливают, она преспокойно поворачивалась на другой бок и опять засыпала. Рассказы бесстрашной тетки, а еще более природа Кавказа, дикая и величавая, произвели на десятилетнего Лермонтова уже в ту раннюю пору жизни неизгладимое впечатление. Кавказу посвящено им одно из первых его

стихотворений, каждый куплет которого оканчивается словами: «Люблю я Кавказ».

# III

Но вот настала пора отдать Мишеля в настоящую школу. Когда мальчику стукнуло пятнадцать лет, бабушка перебралась с ним в Москву. Вместо уволенного между тем Капэ их сопровождал француз же Жандро, почтенный полковник наполеоновской гвардии, попавший в 1812 году в плен к русским да так и оставшийся с тех пор в России. Изо всех своих учителей Лермонтов более всего привязался к добродушному, начитанному Жандро. Его же влиянию надо приписать ту симпатию, которую питал поэт всегда к Наполеону и Франции, воспетых им во многих стихотворениях («Наполеон», «Бородино», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье» и проч.).

Решено было поместить Мишеля в университетский благородный пансион (в котором, кстати сказать, воспитывались прежде такие корифеи нашей литературы, как Фонвизин, Жуковский, князь Одоевский, Грибоедов). Для более верного успеха приготовить туда мальчика был приглашен известный педагог Зиновьев, состоявший надзирателем и учителем русского и латинского языков того же пансиона. Год спустя, Лермонтов действительно был принят в пятый (предпоследний) класс полупансионером: бабушка не хотела спускать своего любимца с глаз и ежедневно сама отвозила его в пансион и точно так же приезжала опять за ним. Тем временем Жандро, простудившись, заболел чахоткой и умер. Репетитором к молодому Лермонтову был приставлен сперва ученый еврей Леви, а вскоре затем англичанин Виндсон, который познакомил своего воспитанника впервые с Шекспиром и Байроном, но не мог заменить ему покойного Жандро.

Учение в университетском пансионе шло вообще удовлетворительно. Особенное внимание обращалось на древних и новых классиков. Профессором русской словесности был известный в свое время писатель Мерзляков. Он старался приохотить мальчиков к литературе, устраивал нарочно чтения, заставлял их писать на уроках стихи и поощрил их даже издавать свой собственный рукописный журнал. Одним из ревностнейших вкладчиков этого журнала сделался Лермонтов.

Еще на двенадцатом году жизни ему была подарена кем-то довольно объемистая тетрадь в бархатном голубом переплете, с золотым обрезом и обшитая золотым шнуром, переплетенным во французские литеры «M.I.L.». (Тетрадь эту, так же как и несколько последующих, можно видеть и теперь в Публичной библиотеке, в Петербурге.) В начале тетради идут разные выписки из

французских авторов; потом следуют «Бахчисарайский фонтан» Пушкина и «Шильонский узник» Жуковского. Очевидно, эти две поэмы: одна — навеянная Байроном, другая — переведенная из Байрона, особенно пришлись по душе отроку Лермонтову.

Затем в тетрадях его, среди разных виньеток, головок, картинок (потому что Лермонтов, как сказано, охотно также рисовал), появляются уже наброски собственных его мыслей, мелкие стихотворения и отрывки не то оригинальных, не то подражательных поэм: «Черкесы», «Кавказский пленник»[2] (куда целиком вошло немало стихов из одноименной поэмы Пушкина), «Корсар», «Преступник». Если в этих поэмах преобладает влияние Пушкина и Байрона, то следовавшие в 1829 году быстро одно за другим подражания Шиллеру, а также переводы из него («Три ведьмы», «Встреча», «Кубок», «Перчатка» и др.) показывают, как в то время он увлекся великим немецким поэтом.

Все эти опыты были, конечно, детски слабы, и Мерзляков (приглашенный давать Лермонтову уроки на дому) относился к ним со снисходительным пренебрежением:

— Молодо-зелено, — говаривал он, не подозревая, что имеет перед собою будущего знаменитого поэта.

Принимая близко к сердцу такое невнимание к его молодой музе, самолюбивый и нервный Лермонтов еще более, быть может, досадовал на старика-профессора за его враждебность к Пушкину, талант которого Мерзляков не признавал, так как принадлежал сам к старой державинской школе. Долго не мог забыть Лермонтов, как однажды профессор стал иронически разбирать в классе только что появившееся в печати новое стихотворение Пушкина «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет») и раскритиковал в пух и прах.

# IV

Кроме поэзии, Лермонтов рано стал выказывать большую склонность ко всем вообще искусствам. Будучи в пансионе, он рисовал уже очень мило и играл хорошо как на фортепьяно, так и на скрипке. Зиновьев, обучавший его вместе с его товарищами декламации, рассказывал, как Лермонтов отличился на пансионском акте 1828 года: «Среди блестящего собрания он произнес стихи Жуковского „К морю“ и заслужил громкие рукоплескания. Тут же Лермонтов удачно исполнил на скрипке пьесу, и вообще на этом экзамене обратил на себя внимание, получив первый приз, в особенности за сочинение на русском языке».

> «Весело было смотреть, как он торжествовал, — рассказывает по поводу того же экзамена одна его хорошая знакомая Сушкова-Хвостова. — Зная его чрезмерное самолюбие, я ликовала за него. Смолоду его грызла мысль, что он дурен, нескладен, незнатного происхождения, и в минуты увлечения он признавался мне не раз, как бы хотелось ему попасть в люди, а главное — никому в этом не быть обязану, кроме самого себя».

Но, будучи на хорошем счету у начальства, поэт наш, насмешливый и придирчивый, не был любим пансионскими товарищами, прозвавшими его «лягушкой».

На второй год своего пребывания в пансионе шестнадцатилетний Лермонтов сделал знакомство, которое послужило ему впоследствии благодарным материалом не только для многих прекрасных лирических стихотворений, но и для знаменитого его романа «Герой нашего времени». В доме родственников своих Верещагиных он встретился с девицами аристократками Сушковыми, из которых старшая, Екатерина Александровна, или, как ее звали тогда, Катя (вышедшая затем за Хвостова), оставила весьма любопытные записки. Описывает она Лермонтова, как «неуклюжего, косолапого мальчика, с красными, но умными выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой».

Самой Кате Сушковой было тогда уже восемнадцать лет, и потому вполне понятно, что с шестнадцатилетним школьником, который притом был малого роста и казался оттого еще моложе, она обходилась как с «мальчиком».

«Он учился в университетском пансионе, — рассказывает она, — но ученые его занятия не мешали ему быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье и на вечерах. Все его называли просто Мишель, и я так же, как и все, не заботясь нимало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям, и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки; но перчатки он часто затеривал, и я грозила отрешить его от вверенной ему должности».

Сушковой и на ум не могло прийти, что этот мальчик сочинял уже поэмы; что он пробует приспособить «Цыган» Пушкина к опере; что в голове у него роится несколько драм. Так, по прочтении романа Шатобриана «Атала» он задумал трагедию об американских краснокожих, угнетаемых испанцами; удельный период русской истории подал ему мысль для драмы «Мстислав Черный»; римская история навела его на две новые драмы — «Марий» и «Нерон». Но все эти сюжеты должны были отойти на задний план перед трагедией «Испанцы», которую внушило ему семейное предание, будто бы фамилия Лермонтовых происходит от испанского владетельного герцога Лерма, бежавшего из Испании в Шотландию. Наконец, Шиллеровы «Разбойники» и «Коварство и любовь» вдохновили его к драме «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти»), темой для которой послужила собственная его семейная жизнь, а именно — борьба из-за него, Мишеля, между бабушкой и отцом.

Учебные занятия, а еще более неопытность пера не дали начинающему поэту совладать ни с одним из перечисленных сюжетов. А тут вдруг, по высочайшему повелению, пансион при университете был закрыт и самое заведение переименовано в гимназию. Лермонтов подал просьбу об увольнении, и бабушка стала подумывать уже о том, чтобы отвезти его доканчивать образование за границу; но дело не устроилось, и юноша поступил в московский университет.

Настало лето 1831 года. Арсеньева с внуком осталась гостить близ Москвы, у родственников своих Столыпиных, в селе Средникове. В трех верстах оттуда, в имении своем Большакове, проводили лето Сушковы, а в полутора верстах от последних жили и Верещагины.

«В деревне я наслаждалась полной свободой, — говорит Катя Сушкова. — Сашенька (Верещагина. — В.А.) и я по нескольку раз в день ездили и ходили друг ж другу, каждый день выдумывали разные parties de plaisir: катанья, кавалькады, богомолья… По воскресеньям мы

езжали к обедне в Средниково и оставались на целый день у Столыпиной. Вчуже отрадно было видеть, как старушка Арсеньева боготворила внука своего Лермонтова: не нахвалится, бывало, не налюбуется на него… Сашенька и я — мы обращались с Лермонтовым как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности: он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и притворяется углубленным в размышления, хотя ни малейшее наше движение не ускользало от его зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые сентиментальные суждения! А мы, чтоб подразнить его, в ответ подадим ему волан или веревочку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем прикидываться непонятым и неоцененным снимком с первейших поэтов».

В отпор, вероятно, подобным насмешкам, Лермонтов написал в альбоме Кате Сушковой известные прекрасные стихи:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник, —
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой… и т. д.

Но Сушкова по-прежнему видела в нем только полуребенка и продолжала потешаться над ним.

«Еще более посмеивались мы над ним в том, — говорит она, — что он не только был наразборчив в пище, но никогда не знал, что ел: телятину или свинину, дичь или барашка. Мы говорили, что, пожалуй, он со временем, как Сатурн, будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его из терпения, он спорил с нами почти до слез, стараясь убедить нас в утонченности своего гастрономического вкуса. Мы побились об заклад, что уличим его в противном на деле. И в тот же самый день, после долгой прогулки верхом, велели мы напечь к чаю булочек — с опилками! И что же? Мы вернулись домой утомленные, разгоряченные, голодные, с жадностью принялись за чай, а наш-то гастроном

Мишель, не поморщась, проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе третью; но Сашенька и я — мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобоваримую для желудка начинку… Тут не на шутку взбесился он, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже не показывался несколько дней, притворившись больным».

К этому времени относятся следующие строки Лермонтова (от 7 июня 1831 года) к приятелю его, Поливанову:

*«Любезный друг, здравствуй! Протяни руку и думай, что она встречает мою; я теперь сумасшедший совсем… Нет, друг мой! Мы с тобой не для света созданы. Я не могу тебе много писать: болен, расстроен; глаза каждую минуту мокры: source intarissable (неиссякаемый ключ). Много со мной было…»*

Уединяясь от своих обидчиц-барышень, он старался забыться в изучении Байрона, Гете, Руссо, усердно переводил поэмы первого из них, работал над оригинальною поэмою «Демон» и над большою романтической драмой в прозе «Странный человек», в предисловии к которой говорит: «Я решился изложить драматически происшествие истинное, которое долго беспокоило меня и всю жизнь, может быть, занимать не перестанет. Почти все действующие лица писаны мною с природы; но те, кои могут узнать, с кого они взяты, едва ли откроют это миру. Читатель, верно, пожалеет о судьбе молодого человека, который подавал столь блистательные надежды и от одной безумной страсти навсегда потерян для общества…»

«Молодо-зелено», — повторила бы, вероятно, за Мерзляковым Катя Сушкова, если бы вообще знала о существовании новой драмы.

И точно: будь молодой человек так несчастлив, как он минутами воображал себя, он не утешался бы такими ребячествами, как ночные прогулки с юношей-соседом Лаптевым в самодельных папочных рыцарских латах по разным «страшным» местам: по кладбищу, к развалинам старой башни, к так называемому «Чертову мосту»; не стал бы, по возвращении оттуда, пресерьезно воспевать свою неустрашимость:

Спокоен я. Душа пылает
Отвагой. Ни мертвец, ни бес —
Ничто меня не испугает.

В это же лето, благодаря семинаристу Орлову, молодому учителю двоюродного брата Лермонтова, Аркадия Столыпина, поэт впервые познакомился с русскими народными былинами, по образцу которых шесть лет спустя написал свою превосходную былевую поэму из времен Иоанна Грозного «Песня про купца Калашникова».

# V

До окончательного переезда осенью из Средникова в Москву Столыпины, Арсеньева с внуком и соседи их — Сушковы и Верещагины — собрались на богомолье в Троицко-Сергиевскую лавру. На монастырской паперти попался им слепой нищий, которому в деревянную его чашечку всякий из наших богомольцев бросил мелких денег.

— Пошли вам Бог счастья, добрые господа! — пожелал им слепец. — А вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, — насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камешков. Бог с ними!

По возвращении из лавры, проголодавшиеся барышни засуетились около обеденного стола; Лермонтов же, стоя на коленях перед стулом, быстро писал что-то карандашом на клочке серой бумаги. Все уселись уже за ботвинью, окликали его, — он ничего не слышал. Вдруг он вскочил с пола, тряхнул головой и, усевшись на свободный стул против Кати Сушковой, подал ей через стол стихотворение, начинавшееся словами:

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья…

Звучные стихи до того понравились молодой барышне, что с этого времени она переменила свое обращение с автором: он как бы вырос в ее глазах, и она стала называть его часто уже Михаилом Юрьевичем.

Зимою, уже студентом, Лермонтов по-прежнему почти каждый вечер встречался то здесь, то там с Верещагиным и Сушковым, участвуя с ними во всевозможных играх и особенно отличаясь в стихотворных экспромтах и каламбурах.

Так, однажды затеялась у них игра, где про каждого из присутствующих поочередно остальные должны были высказывать свое мнение. Дошла очередь и до одного родственника Лермонтова, некоего Ивана Яковлевича. Последний имел рыжие волосы и был известен своею глупостью. И вот Лермонтов, на задумываясь, брякнул:

— Vous etes Jean, vous etes Jacques, vous etes roux, vous etes sot, et cependant vos n'etes point Jea-Jaques Rousseau[3].

Немного погодя, одна гостья-барышня стала упрашивать поэта написать ей в альбом хоть строчку правды. Лермонтов отнекивался, но та не давала ему покоя, и он потребовал перо и

бумагу.

Барышня, любопытно глядя через плечо, увидела, что он пишет: «Три грации» — и остановила его:

— Михаил Юрьевич! Прошу без комплиментов; я правды хочу.

— Не тревожьтесь, — отвечал он, — будет правда. И на альбомном листке появилась известная теперь всем эпиграмма:

Три грации считались в древнем мире;
Родились вы… всё три, а не четыре!

Неудивительно, что злая шутка довела обиженную до слез; но подруги ее за то целый вечер фыркали от душившего их смеха.

Насколько успешно шли университетские занятия Лермонтова — в точности неизвестно. Общую же характеристику своей университетской жизни поэт делает в следующих стихах:

Из пансиона скоро вышел он,
Наскуча все твердит азы да буки;
И, наконец, в студенты посвящен,
Вступил надменно в светлый храм науки.
Святое место! Помню, как сквозь сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры…
Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы без слов
Текут… Пришли, шумят… Профессор длинный
Напрасно входит, кланяяся чинно.
Он книги взял, раскрыл, прочел — шумят;
Уходят — втрое хуже. Сущий ад!..
По сердцу Саше жизнь была такая,
И этот ад считал он лучше рая.

Одно несомненно, что Лермонтов отнюдь не был «зубрилой» или кабинетным ученым: с толпой товарищей, таких же жизнерадостных повес-барчуков, как и сам, он почасту ездил в Сокольники, в Петровский, в Марьину рощу. Описывая в неоконченной своей повести «Княгиня Литовская» молодость своего любимого друга, Печорина, Лермонтов, между прочим, говорит, что «Печорин с товарищами являлся также на всех

гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет, к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрыв глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвания еще в моде, прозвали их la bande joyeuse…» (Веселая банда).

Так именно была окрещена одною московскою барышнею Б. веселая студенческая компания, в которую попал Лермонтов.

Два года всего пробыл он в Московском университете. Один из профессоров его имел обыкновение начинать всякую лекцию словами:

— Человек, который…

Однажды, когда профессор с этими же словами взошел опять на кафедру, студенты со смехом захлопали в ладоши:

— Fora! Прекрасно!

Профессор начинал говорить несколько раз, но шалуны всякий раз прерывали его тем же криком.

— Господа! Я вынужден буду уйти… — сказал профессор.

— И прекрасно! — был общий ответ. — Человек, который… Bis! Прекрасно.

Профессор удалился, но некоторые из буянов поплатились и должны были оставить университет. В числе их был и Лермонтов.

# VI

Легко представить себе огорчение бабушки нашего поэта. Как ни тяжело было ей расстаться с Москвою, но она решилась принести дорогому внуку эту жертву, чтобы дать ему окончить курс наук. Он, действительно, послал в Петербург прошение о приеме его в тамошний университет. Но там потребовали от него вторичного вступительного экзамена, и раздосадованный юноша махнул на науку рукою. Что было ему теперь делать? Идти в «подъячие» (как называли в то время чиновников) не позволял ему его дворянский гонор, и вот, несмотря на протест и мольбы бабушки, он остановил свой выбор на военной карьере.

Летом 1832 года Арсеньева лично отвезла его в Петербург, где внук ее, однако, сперва не мог освоиться с новыми условиями жизни. В августе этого года он писал одной московской приятельнице (С.А. Бахметьевой):

*«…Я ищу впечатлений, каких-нибудь впечатлений!.. Преглупое состояние человека то, когда он должен занимать себя, чтобы шить, как занимали некогда придворные старых королей: быть своим гнутом!.. Одну добрую вещь скажу вам: наконец я догадался, что не гожусь для общества, и теперь больше, чем когда-нибудь. Вчера я был в одном доме NN, где, просидев четыре часа, я не сказал ни одного путного слова. У меня нет ключа от их умов, — быть может, слава Богу!*

*…Странная вещь! Только месяц тому назад я писал:*

*Я жить хочу, хочу печали,*
*Любви и счастию на зло!*
*Они мой ум избаловали*
*И слишком сгладили чело.*
*Пора, пора насмешкам света*
*Прогнать спокойствия туман.*
*Что без страданий жизнь поэта*
*И что без бури океан?*

*И пришла буря, и прошла буря, и океан замер, но замер с поднятыми волнами, храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле мертвее, чем когда-нибудь…»*

Вслед за тем (в письме к московской кузине Сашеньке Верещагиной) он капризно жалуется на петербургских родственников и вообще на тамошнее общество:

> *«Назвать тебе всех, у кого я бываю? Назову — себя, потому что у этой особы бываю я с наибольшим удовольствием. Правда, по приезде я навещал довольно часто родных, с которыми мне следовало познакомиться; но под конец нашел, что самый лучший мне родственник — это я сам. Видел я образчики здешнего общества, дам очень любезных, молодых людей весьма воспитанных; все они вместе производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и без затей, но в котором с первого раза можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили в нем всякое различие между деревьями».*

Заключает он письмо так:

> *«Прощай; не могу больше писать. Голова кружится от глупостей. Мне кажется, по той же причине и земля вертится вот уже семь тысяч лет…»*

Третье письмо того же времени он кончает словами:

> *«Все люди, такая тоска; хоть бы черти для смеха попадались!»*

Без особых затруднений принятый в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (помещавшуюся тогда у Синего моста, в великолепном здании, бывшем потом дворцом великой княгини Марии Николаевны, а в настоящее время занятом Государственным Советом и Кабинетом Министров), Лермонтов уже несколько серьезное стал раздумывать о своем будущем.

> *«До сих пор я жил для поприща литературного, — писал он в Москву к М.А.Лопухиной, — принес столько жертв своему неблагодарному идолу, и вот теперь я — воин. Быть может, тут есть особенная воля Провидения; быть может, этот путь всех короче, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, по нему дойду до последней цели всего существующего: ведь лучше умереть с свинцом в груди, чем от медленного старческого истощения… Я жил, я слишком скоро созрел, и затем нет больше места чувствованиям…*

Он был рожден для счастья, для надежд
И вдохновений мирных! Но, безумный,
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной:
И мир не пощадил, и Бог не спас!
Так сочный плод, до времени созрелый,
Между цветов висит осиротелый:
Ни вкуса он не радует, ни глаз,
И час их красоты — его паденья час!
И жадный червь его грызет, грызет,
И между тем как нежные подруги
Колеблются на ветках — ранний плод
Лишь тяготит свою… до первой вьюги!

В действительности никаких особенных превратностей судьбы юноша-поэт еще не испытал; но его впечатлительная, эстетическая, глубокая натура не удовлетворялась мелочными интересами большинства, и он томился, безотчетно тосковал о чем-то лучшем и — рисовался этою поэтическою тоскою.

Товарищами Лермонтова в юнкерской школе была молодежь высшего столичного круга, между прочим и любимый двоюродный брат его — Алексей Аркадьевич Столыпин, известный в школе под прозвищем Монго (по принадлежавшей ему собаке), и Лермонтов там наружно скоро обижался, тем более что по успехам был одним из первых.

По уверению одного из товарищей его (Миклашевского), жилось будущим воинам привольно; офицеры обращались с ними по-товарищески, и никто из юнкеров за два года не подвергся никакому взысканию. По субботам великий князь Михаил Павлович брал к себе во дворец к обеденному столу по очереди двух пехотинцев или двух кавалеристов. Хотя те и другие помещались в разных этажах, и пехотных подпрапорщиков юнкера называли «крупою», но в свободные часы «кавалерия» нередко забиралась в небольшую рекреационную залу «пехоты», потому что там имелся разбитый старый рояль, под звуки которого хором распевались веселые французские шансонетки, особенно песни Беранже. Душою этих собраний был пехотинец, остряк и повеса Костя Булгаров (сын московского почт-директора). Лермонтов вторил ему едкими шутками и удачными каламбурами, причем не жалел при случае и самого себя; в получавшемся юнкерами парижском карикатурном журнале «Charivari» описывались, например, похождения косолапого урода «Monsieur Mayeux», и Лермонтов прозвал себя Маёшкой.

Военная среда осталась не без влияния на литературном направлении начинающего поэта. Множество нескромных стихотворений его нашли место в рукописном журнале юнкеров «Школьная Заря». Но здесь же в юнкерской школе им написаны две поэмы: «Измаил-бей» и «Хаджи-абрек» (1833 г.), хотя и представляющие еще подражание Пушкину, но отличающиеся уже самобытными поэтическими красотами и в особенности живописными картинками дикой кавказской природы. Однако очень строгий к себе Лермонтов ни одного стихотворения своего еще не решился выпустить в печать. Только в 1835 году «Хаджи-абрек» появился в «Библиотеке для чтения», да и то без ведома автора, по милости одного из его приятелей.

Когда же, спрашивается, находил Лермонтов время при классных занятиях и строевом учении писать еще целые поэмы? «По вечерам, после учебных занятий, — передает один из его товарищей, — поэт часто уходил в отдаленные классные комнаты, в то время пустые, и там один просиживал долго и писал до поздней ночи, стараясь туда пробраться не замеченным…»

Так в беззаботном, задорном повесе-юнкере вырабатывался вдумчивый талант, смутно сознававший свое высокое назначение.

После первого же года пребывания в юнкерской школе Лермонтов порывался уже на волю, не мог дождаться окончания «школьного» положения.

> *«Одно меня ободряет: мысль, что через год я офицер!» — писал в августе 1833 года в Москву. — И тогда, тогда… Боже мой! Если бы знали, как жизнь я намерен повести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, шалости всякого рода и — поэзия, залитая шампанским…»*

# VII

И вот ожидания его осуществились. В конце 1834 года он был выпущен в царскосельские лейб-гусары. Каков был Лермонтов в первые дни своего офицерства, в живых красках описывает случайно встретившийся с ним тогда В.П.Бурнашев:

«Подходя уже к дверям квартиры Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и жестоко гремевшим шпорами и саблею по каменным ступеням молоденьким гвардейским гусарским офицером в треугольной, надетой с поля шляпе, белый перистый султан которой развевался от сквозного ветра. Офицер этот имел очень веселый, смеющийся вид человека, который сию минуту видел, слышал или сделал что-то пресмешное. Он слегка задел меня длинным капюшоном своей распахнутой и почти распущенной серой офицерской шинели с красным воротником и, засмеявшись звонко на всю лестницу (своды которой усиливали звуки), сказал, вскинув на меня свои довольно красивые, живые, черные как смоль глаза, принадлежавшие, однако, лицу бледному, несколько скуластому, как у татар, с крохотными и тоненькими усиками и с коротким носом, чуть-чуть приподнятым:

— Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном.

И продолжал быстро спускаться с лестницы, все по-прежнему гремя ножнами сабли, но пристегнутой на крючок.

Войдя к своему знакомому Синицыну, рассказчик застал его в возбужденном состоянии.

— Я, вы знаете, люблю, чтоб у меня все было в порядке, сам за всем наблюдаю, — говорил тот, — а тут вдруг, откуда ни возьмись, влетает к нам товарищ по школе, курит, сыплет пепел везде где попало, тогда как я ему указываю на пепельницу, и швыряет окурки своих проклятых трабукосов[4] в мои цветочные горшки, и как нарочно выбрал же он рододендрон, а не другое что, и забавляется, разбойник этакий, тем, что сует окурки в землю, и не то чтобы только снаружи, а расковыривает землю да и хоронит. Ну, далеко ли до корня? Я ему говорю резон, а он заливается хохотом! И при всем этом без милосердия болтает, лепечет, рассказывает, декламирует самые скверные французские стишонки, тогда как самого-то Бог наградил замечательным талантом писать истинно прелестные русские стихи. Так небось не допросишься, чтоб что-нибудь свое прочел. Капризный змееныш этакий!

Несколько времени спустя Бурнашов узнал от Синицына, что

рододендрон его от лермонтовских трабукосов действительно погиб.

Тогда же познакомился с Лермонтовым А.Н. Муравьев, которому удалось услышать от него отрывки „Демона“.

„Лермонтов просиживал у меня по целым вечерам, — говорит Муравьев, — живая и остроумная его беседа была увлекательна, анекдоты сыпались, но громкий и пронзительный его смех был неприятен для слуха…“

Уже в декабре того же 1834 года поэт-гусар будто начинает разочаровываться в новом своем общественном положении и жалуется московской кузине:

> *„Моя будущность, блистательная, по-видимому, в сущности пошлая и пустая. Нужно вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет, со всеми моими прекрасными мечтаниями и непрекрасными опытами в житейской науке, потому что мне либо не выходит случая, либо недостает решимости… Когда-то вы облегчали очень сильную горесть, — может, и теперь вы пожелаете ласковыми словами отогнать эту холодную иронию, которая неудержимо втесняется мне в душу, как вода, наполняющая разбитое судно! О! Как желал бы я опять вас увидеть, с вами поговорить: мне благотворны были самые звуки ваших слов. Право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами, а то теперь читать письмо то же, что глядеть на портрет: нет ни жизни, ни движения, выражение неподвижной мысли, что-то отзывающееся смертью…“*

В излияниях этих слышится по-прежнему еще юношеский напускной пафос, но пробивается и искренняя грусть, и недовольство настоящим.

Наезжая из Царского Села в Петербург, Лермонтов после четырех лет увиделся тут снова со своей старинной московской знакомой Екатериной Александровной Сушковой (два года спустя вышедшей замуж за Хвостова). На двадцатилетнего гусарского корнета, приобревшего своим стихотворством уже некоторую известность, Сушкова смотрела совсем иными глазами, чем на прежнего школьника. Подобно другим молодым барышням, поклонявшимся таланту нашего поэта, она рядилась в любимые его цвета: голубой и белый, вязала ему сувениры, очень охотно танцевала с ним целые вечера и заслушивалась его остроумной болтовни. Но в конце концов он презло подшутил над нею: написал французское анонимное письмо, будто бы от имени

какой-то благородной девицы, жестоко им обманутой и считавшей долгом совести предостеречь от него Сушкову. Письмо это, адресованное к ней, он нарочно, однако, направил так, что оно попало в руки ее старших родственников, — и в доме поднялась целая семейная буря. Лермонтову отказали от дома, а он только посмеивался про себя. На вопрос Сушковой, зачем он всех так интригует, — ответ его был:

— Я изготовляю на деле материал для будущих моих сочинений.

И точно, история знакомства его с Сушковой-Хвостовой послужила ему впоследствии благодарною темой для его „Героя нашего времени“.

Рассказанный сейчас эпизод, выставляющий характер Лермонтова в столь невыгодном свете, был в жизни его не единичным. Передают еще, например, что, посватавшись к Щербатовой и получив ее согласие, он потом на коленях умолял свою бабушку протестовать против этого брака.

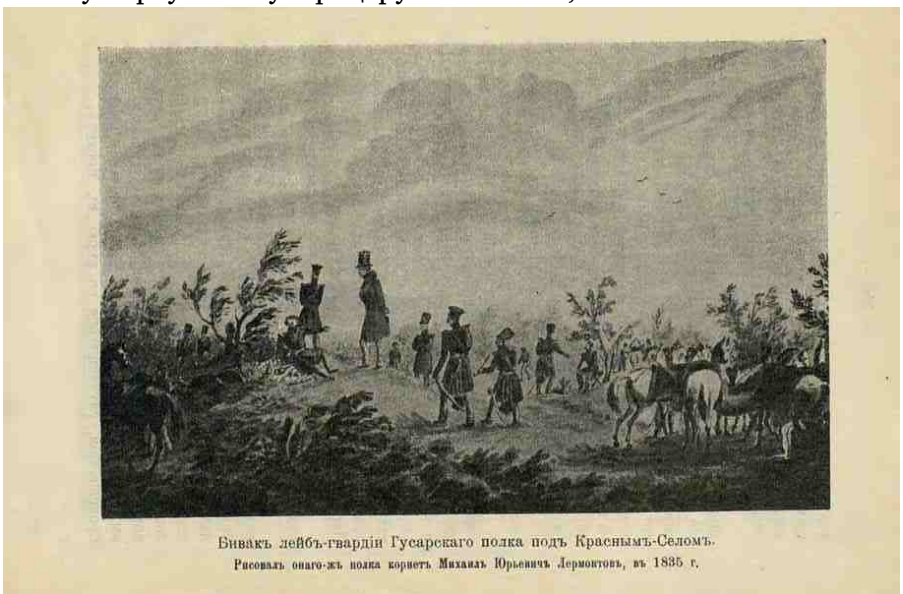
Один из биографов поэта (профессор Висковатый) старается оправдать его тем, что „творчество сильнее личного элемента; чем более зреет талант, тем шире его творение, тем более оно имеет общечеловеческий, а не частный интерес“.

# VIII

В ту пору не было еще железной дороги из Петербурга в Царское, и старушка Арсеньева, жившая в Петербурге, подолгу не только не видела своего ветреника-внука, но не получала от него и пары строк. А между тем как дрожала она над ним! Имея его при себе в Петербурге, она всякий раз, когда он уходил из дома, наскоро благословляла его: не приключилось бы чего с ним, упаси Господи!

Однажды, на масленице, она убедила двоюродного брата его лейб-драгуна Колю Юрьева хоть силою привезти ей Мишеля из Царского. Юрьев с упомянутым уже выше приятелем Лермонтова Булгаковым и еще двумя молодыми офицерами на лихой тройке помчались в Царское Село. Так, на квартире Мишеля-Маёшки, жившего вместе с другим двоюродным братом своим, Столыпиным-Монго, они застали «гусарщину» в полном разгаре. На скрещенных саблях пылала жженка (сахар, облитый ромом), а сидевшая вокруг веселая компания гусаров распевала хором сочиненную только что хозяином-поэтом застольную песню. Сердечно привязанный к бабушке, Лермонтов принял ее посланцев с распростертыми объятиями и тотчас собрался ехать с ними, но поставил условием, чтобы все гости сопровождали его. Шустрый денщик Лермонтова Ваня живо сгреб в корзину полокорока, четверть телятины, десяток жареных рябчиков и добрый запас шампанского и других напитков. Полчаса спустя четыре бешеные тройки взапуски летели по дороге в Петербург. На середине дороги коренник одной тройки упал. Кучер принялся оттирать его свежим снегом. В ожидании, пока лошадь совершенно оправится от «родимчика», наша военная молодежь устроилась по-домашнему в стоящем у дороги необитаемом деревянном балагане и при свете бывших с собой фонарей принялась за уничтожение дорожной провизии. Для увековечения этого веселого бивуака тут же были сочинены «нелепейшие» стихи и начертаны углем на выбеленной мелом стене балагана. В стихах этих перечислялись все участники пикника, но не под собственными именами, а под псевдонимами: Лермонтов назвался российским дворянином Скотом Чурбановым, Булгаков — маркизом де Глупиньоном, затем следовали — боярин Больвапешти, лорд Дураксон, барон Думшвейг, пан Глупчинский, синьор Глупини, паныч Дураленко и проч. Наконец, можно было опять двинуться в путь; в два часа ночи четыре тройки подскакали к петербургской пограничной гауптвахте. Здесь, по правилам того времени, надо было предъявить караульному

унтер-офицеру список въезжавших в столицу «по рангам и фамилиям». Булгаков не замедлил расписаться за всех и, вручая лист, подтвердил служивому, чтоб он непременно показал записку караульному офицеру. Оказалось, что на списке



Бивакъ лейбъ-гвардіи Гусарскаго полка подъ Краснымъ-Селомъ.
Рисовалъ онаго-жъ полка корнетъ Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ, въ 1835 г.

вся компания красовалась под своими дорожным прозвищами. Этот фарс, как и многие другие, сошел для наших повес благополучно и передавался затем со смехом во всех столичных гостиных.

Приведя такую иллюстрацию беззаботной жизни тогдашних царскосельских гусар, мы должны, однако же, оговориться, что отличительной чертой их был замечательный дух товарищества: все офицеры горой стояли друг за друга, и насколько Лермонтов своим едким остроумием придавал соль вечерним сборищам гусар, настолько же двоюродный брат его, Столыпин-Монго, образец храбрости, благородства и доброты, поддерживал и выгораживал всегда честь полка.

А поэтический талант Лермонтова тем временем незаметно все рос да рос.

Изливать в стихах свои мысли и чувства стало для него уже неодолимою потребностью. Писал он и на клочках бумаги, и на стенах, и на переплетах книг, и на дне ящика письменного стола. Денщик его Ваня, оказалось, был также любитель стихов, и всякие такие исписанные его барином бумажки собирал, как драгоценность. Увидя у него раз ворох этих обрывков, Лермонтов, смеясь, ему заметил:

— Подбирай, братец, подбирай: со временем большие будут деньги платить, — богаче станешь.

На Рождество 1835 года поэт взял отпуск и укатил к бабушке, в деревенскую глушь, откуда писал приятелю своему Раевскому:

> *«Я теперь живу в Тарханах у бабушки, слушаю, как под окном воет метель (здесь все время ужасное), снег в сажень глубины, лошади вязнут и — и соседи оставляют друг друга в покое, что, в скобках, весьма приятно; ем за четверых… и пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мною в Москве».*

Драма эта «Маскарад». В следующем, 1836, году им были написаны две большие поэмы: одна — «Боярин Орша», другая шуточная — «Казначейша», отличавшиеся обе необыкновенною легкостью и блестящею отделкою стиха. Кроме того, из-под пера его вышло много мелких стихотворений, между которыми были пластично-прекрасные, как, например, «Умирающий гладиатор», «Два великана», «Молитва» («Я, Матерь Божия»). Двоюродный брат поэта, лейб-драгун Коля Юрьев, имевший изумительную память и мастерски читавший стихи, восторженно прославлял по Петербургу молодого стихотворца, и редактор «Библиотеки для чтения» Сенковский, которому Юрьев также читал одну из поэм Лермонтова, настоятельно просил давать ему все, что напишет поэт, обещая его напечатать. Но Лермонтов, еще недовольный своим стихом, избегал отдавать себя на суд читающей публики, почти не появлялся в печати. Но в начале 1837 года имя его разом прогремело по Петербургу и по России.

# IX

Незадолго до смерти Пушкина Лермонтову удалось лично познакомиться с великим поэтом. Относясь к личности Пушкина всегда с особенным благоговением, он был глубоко возмущен, когда в январе 1837 года по Петербургу стали распространяться самые недостойные клеветы о его кумире. А тут вечером 27 января разнеслась ужасная весть, что Пушкин смертельно ранен на дуэли одним из своих клеветников; молодым кавалергардом, французом, бароном Дантесом-Геккерном. Лермонтов был вне себя, — и сам с горя даже прихворнул. Два дня спустя Пушкин скончался; а злые языки все не умолкали и чернили еще тень погибшего гения. Тогда в порыве негодования Лермонтов написал известные стихи «На смерть Пушкина» («Погиб поэт, невольник чести»). Благодаря Коле Юрьеву стихи эти в бесчисленных списках разошлись по всему Петербургу. Между тем Арсеньева, озабоченная нездоровьем ненаглядного внука, послала за придворным лейб-медиком Арендтом. Тот успокоил старушку уверением, что у молодого человека только расстройство нервов, но вместе с тем, по настоянию больного, должен был рассказать ему все подробности двухдневных предсмертных мучений Пушкина, которых он был свидетелем. Минут десять по отъезде Арендта Лермонтова навестил один родственник, блестящий джентльмен-дипломат, и между обоими завязался спор о Пушкине. Споря и кипятясь, Лермонтов нервно чертил что-то карандашом на листе бумаги, то и дело ломал карандаш и в заключение крикнул гостю:

— Вы, милостивый государь, антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, если вы сию секунду не уберетесь отсюда!

— Да он просто бешеный! — сказал дипломат и поспешил удалиться.

Лермонтов же взял чистый лист бумаги, перебелил то, над чем только что переломал несколько карандашей, и прочел вслух бывшему тут же Юрьеву шестнадцать дополнительных строк к стихотворению «На смерть Пушкина» («А вы, надменные потомки» и т. д.). Крайне резкие, но необыкновенно звучные и проникнутые глубоким чувством благородного гнева стихи привели Юрьева в полный восторг. Он тотчас снял с них несколько копий, развез по своим друзьям, а те в свою очередь в новых копиях распространили их между своими знакомыми. В два-три дня не было почти дома в Петербурге, где бы не имелось новых лермонтовских стихов. Старушка Арсеньева сильно всполошилась и старалась изъять из публики опасные стихи

внука, «точно фальшивые ассигнации» (рассказывает Юрьев); но напрасно: стихи дошли уже и до шефа жандармов — и Лермонтов был арестован.

Любопытно для характеристики поэта, что он, соскучась ждать возвращения домой генерала Муравьева, у которого искал защиты, вдохновился видом палестинских пальм в образной генерала и тут же написал дышащее такою теплою, спокойною верою стихотворение «Ветки Палестины».

В потребованном от него письменном показании Лермонтов следующим образом излагает побудительные причины своих стихов «На смерть Пушкина»:

> *«Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее и ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни, приверженцы нашего лучшего поэта, рассказывали с живейшею печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее… Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою Божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого; и врожденное чувство в душе неопытной — защищать всякого невинно осуждаемого — зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезни раздраженных нервов… Наконец, после двух дней беспокойного ожидания, пришло печальное известие, что Пушкин умер, и вместе с этим известием пришло другое — утешительное для сердца русского: государь император, несмотря на прежние заблуждения Пушкина, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением (как меня уверяли) высшего круга общества увеличила в моем воображении, очернила еще более несправедливость последнего… Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумаге, не полагая, что написал нечто предосудительное… Правда всегда была моей святыней, и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом*

*Божиим».*

Арест молодого автора стихов «На смерть Пушкина» всех более, разумеется, перепугал его бабушку, Арсеньеву.

— И зачем это я, на беду свою, еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишеля литературе! — убивалась она. — Вот до чего он довел его!

В конце февраля того же 1837 года состоялось распоряжение о переводе корнета лейб-гвардии гусарского полка Михаила Лермонтова прапорщиком в Нижегородский драгунский полк, стоявший на Кавказе, в Грузии. В марте Лермонтов писал приятелю своему, Раевскому (содержавшемуся тогда в крепости за распространение лермонтовских стихов):

> *«…Мне иногда кажется, что весь мир на меня ополчился, и если бы это не было очень лестно, то, право, меня бы огорчило… Прощай, мой друг. Я буду тебе писать про страну чудес — Восток. Меня утешают слова Наполеона: „Les grands noms se font a l'Orient“ („Великие имена создаются на Востоке“)…*

Когда Лермонтов, уезжая из Петербурга, откланивался у своего начальника, то должен был выслушать следующее наставление:

Кавказскій видъ.
Картина масляными красками, работы М. Ю. Лермонтова.

— Ваше ли дело писать стихи! Для этого есть поэты, писатели, а вы такой же благородный человек, как и я.

Подобный взгляд на поэтов был в то время довольно общий.

# X

В мае месяце поэт наш был уже с любимым двоюродным братом своим, Алексеем Столыпиным, на Кавказе и, высылая оттуда одной из своих добрых знакомых и поклонниц шесть пар черкесских башмаков для нее и ее подруг писал, между прочим:

> *«Я теперь на водах, пью и купаюсь, — словом, по образу жизни стал похож на утку… Каждое утро из своего окна смотрю на всю цепь снежных гор и на Эльбрус. Вот и теперь, сидя за письмом к вам, я по временам кладу перо, чтобы взглянуть на этих великанов: так они прекрасны и величественны. Надеюсь порядком поскучать, покуда останусь на водах, и хотя очень легко завести знакомства, однако я стараюсь избегать их. Ежедневно толкаюсь по горам и уже от этого одного укрепил себе ноги; ни жар, ни дождь меня не останавливают… Когда я выздоровею и когда здесь будет государь, отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов».*

В Кисловодске его чаще всего видели с хромым доктором Мейером, остроумным шутником, которого он впоследствии вывел также действующим лицом в «Герое нашего времени».

Если сам Лермонтов чуждался теперь людей, то в Петербурге о нем тем более говорили. «На него смотрели как на жертву, — рассказывает Муравьев, — и это быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностью читали его стихи с Кавказа, который послужил для него источником вдохновения».

Списки с «Демона» расходились по рукам, а превосходная «Песня про купца Калашникова», допущенная к печати (в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“) только по особому ходатайству Жуковского, принимавшего самое живое участие в молодом поэте, возбуждала общее восхищение.

О высоком достоинстве этой поэмы знаменитый критик того времени Белинский отозвался самым восторженным образом: „Здесь поэт от настоящего мира неудовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим, обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и широкий размет его чувства и, как будто современник этой эпохи, принял условия ее грубой и дикой общественности со всеми их

оттенками, как будто бы никогда и не знавал других, — и вынес из нее вымышленную боль, которая достовернее всякой действительности, несомненнее всякой истории. И подлинно, этой песни можно заслушаться — и все нельзя ее довольно наслушаться…“

Усиленные хлопоты старушки Арсеньевой, имевшей большие связи в высшем обществе, о возвращении внука вскоре увенчались успехом. На Пасхе 1838 года Лермонтов, переведенный сперва в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, а вслед за тем в прежние лейб-гусары, был уже в Петербурге. О том, как встретило его столичное общество, сам он так рассказывает одной московской знакомой:

> *„В течение месяца на меня была мода, меня искали наперерыв. Это по крайней мере искренно. Весь народ, который я оскорбил в стихах моих, осыпает меня ласкательствами, самые хорошенькие женщины просят у меня стихой и торжественно ими хвастают. Тем не менее, мне скучно. Я просился на Кавказ — отказ: не хотят даже допустить, чтобы меня убили… Может быть, вы найдете странным — искать удовольствий и скучать ими? Я вам открою мои побуждения. Вы знаете, что самый главный мой недостаток — суетность и самолюбие. Было время, что я, как новичок, искал доступа в это общество, — аристократические двери были для меня заперты. Теперь в это же самое общество я вхожу уже не искателем, а человеком, взявшим с боя права свои. Я возбуждаю любопытство: меня ищут, всюду приглашают, даже когда я не выражаю к тому ни малейшего желания; дамы с притязаниями собирать замечательных людей в своих гостиных хотят, чтобы я был у них, потому что ведь я тоже лев, да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы никогда не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянять. К счастью, меня выручает природная моя лень, и мало-помалу я начинаю находить все это довольно невыносимым. Эта новая опытность полезна; она мне дала оружие против этого общества, которое непременно будет меня преследовать своими клеветами, и тогда у меня есть в запасе средство для отмщения…“*

Между тем, сам Лермонтов словно не мог жить без высшего общества, и из литераторов сходился ближе только со знаменитостями или теми, которые принадлежали к тому же „обществу“.

„Сомневаться в том, что Лермонтов умен, было бы довольно странно, — высказался однажды Белинский, встречавший поэта в редакции „Отечественных записок“, — но я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою“.

„И действительно, Лермонтов как будто щеголял ею, — говорит в своих „Воспоминаниях“ Панаев, — примешивая к ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, желание показать презрение к жизни. Нет никакого сомнения, что если он не изобразил в Печорине самого себя, то, по крайней мере, идеал, сильно тревоживший его в то время и на который он очень желал походить…“

Описывая наружность Лермонтова, Панаев замечает, что Лермонтов знал силу своих глаз и любил смущать людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом. Однажды он встретил у Краевского (редактора „Отечественных записок“) М.А. Языкова. Они не были знакомы друг с другом. Лермонтов несколько минут не спускал с него глаз. Языков почувствовал сильное нервное раздражение и вышел в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этого взгляда.

По отзыву полковых товарищей Лермонтова, „у него была страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость, — и, отыскав ее, он упорно и постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним и выводил его из терпения. Когда он достигал этого, он был очень доволен“.

Но за блестящий поэтический талант молодому гусару многое прощалось, — за исключением, впрочем, своевольных отступлений от казенной формы, за которые ему не раз приходилось просиживать на гауптвахте. Так, весною 1839 года известный своею требовательностью великий князь Михаил Павлович арестовал поэта за то, что тот к разводу надел чуть не игрушечную саблю, которую великий князь тут же подарил присутствовавшим при разводе маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам. В другой раз на придворный бал, в ротонде царскосельской „китайской деревни“, Лермонтов явился с неформенным шитьем на воротнике и обшлагах и прямо с бала был отправлен великим князем под арест.

# XI

Подобно тому, как в Пушкине, и в Лермонтове тоже было как бы два существа: простой смертный и вдохновенный поэт. Когда в нем просыпался поэт, из-под пера легкомысленного гусарского офицера выливались такие изумительные по глубине мысли, по изяществу и звучности стиха пьесы, как «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную»), «Три пальмы», «Дары Терека». В конце 1839 года он окончил свою чудную кавказскую поэму «Мцыри» и в то же время писал быстро, один за другим, связанные между собою личностью Печорина превосходные прозаические рассказы, вышедшие затем одним томом под названием «Герой нашего времени». Темою для рассказа «Бэла» послужил ему случай, бывший на Кавказе с родственником его Е.К. Хостатовым; для рассказа «Княжна Мэри» он воспользовался (как уже упомянуто) своим собственным романом с Сушковой-Хвостовой.

За литературной работой Лермонтов делался вдруг самым неумолимым педантом, к каждой строке своей, к каждому стиху относился крайне строго, что выразил необычайно сильно и в своем стихотворении «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал»). Точно так же он предостерегал от увлечения стихотворством молодых людей, не имеющих настоящего дарования: стихотворение «Мечтатель» («Не верь, не верь себе, мечтатель молодой! Как язвы, бойся вдохновенья») было написано им к полковому товарищу А.Л. Потапову (впоследствии генерал-адъютанту), который благоразумно принял совет и бросил упражняться в бесплодном стихотворстве.

Изложив на бумаге волновавшие его поэтические образы и мысли, Лермонтов обращался опять в ветреника-гвардейца и таким же являлся в редакцию «Отечественных записок», куда отдавал теперь для напечатания свои произведения. Отношения его к редактору Панаев рисует очень картинно.

> *«Лермонтов обыкновенно заезжал к Краевскому по утрам и привозил ему свои новые стихотворения. Он с шумом вбегал в его кабинет, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на которых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты; подходил к столу, за которым глубокомысленно погруженный в корректуру сидел редактор; разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого редактора со стула*

*и заставил его барахтаться на полу в корректурах. Краевскому, при его всегдашней солидности, при его наклонности к порядку и аккуратности, такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться; но он поневоле переносил это от великого таланта, с которым был на „ты“, и, полуморщась, полуулыбаясь, говорил:*

*— Ну, полно, полно… перестань, братец, перестань…*

*Краевский походил в такие минуты на гетевского Вагнера (в „Фаусте“), а Лермонтов — на маленького бесенка, которого Мефистофель подсылал к Вагнеру, чтобы смущать его глубокомыслие.*

*Когда ученый приходил в себя, поправлял свои волосы и отряхивал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождения, прочитывал свои новые стихи и уезжал».*

С критиком своим, застенчивым нелюдимом Белинским, Лермонтов еще мог сойтись, и только однажды, в феврале 1840 года, когда поэт за дуэль с сыном французского посланника Барантом был посажен в ордонансгаус, перед вторичной ссылкой на Кавказ, Белинский по душе наговорился с ним.

— Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком! — рассказывал Белинский Панаеву сейчас после свидания своего с Лермонтовым. — Вы знаете мою светскость и ловкость: я взошел к нему и сконфузился по обыкновению. Думаю себе: ну зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы; но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтере Скотте. «Я не люблю Вальтера Скотта, — сказал мне Лермонтов. — В нем мало поэзии. Он сух». И он начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение: он был в эту минуту самим собою… В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким всегда желал его видеть. И он перешел от Вальтера Скотта к Куперу, и говорил о нем с жаром; доказывал, что в Купере несравненно более поэзии, чем в Вальтере Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом и — что удивило меня — даже с увлечением.

Перестрѣлка въ горахъ Кавказа.
Картина масляными красками, работы М. Ю. Лермонтова.

Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем! Недаром же меня так тянуло к нему… А ведь чудак: он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хоть на минуту быть самим собою!..

По пути на Кавказ Лермонтов проездом остановился в Москве, и здесь, у князя Одоевского, увидел его известный немецкий поэт-переводчик Боденштедт, который так описывает наружность нашего поэта:

> *«У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и замечательная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть мокрые усы, он обронил на пол бумажник или сигарочницу и при этом нагнулся с такою ловкостью, как будто был вовсе без костей, хотя плечи и грудь были у него довольно широки. Гладкие, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого человека. Одет он был не в парадную форму: на шее небрежно повязан черный платок, военный сюртук не нов и не до верху застегнут, из-под него виднелось ослепительной свежести белье».*

# XII

Повод дуэли Лермонтова с Барантом был самый пустой: на балу у графини Лаваль они повздорили из-за каких-то слов Лермонтова, в которых тот отказался извиниться. Дрались они за городом, близ Парголова, сперва на шпагах. После легкой царапины, которую противник нанес поэту, они обратились к пистолетам, но Барант промахнулся, а Лермонтов выстрелил на воздух. Тогда враги помирились. Но Лермонтову, как русскому офицеру, эта история не прошла даром: его вторично услали на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк.

Такой внезапный отъезд за тридевять земель был для Лермонтова тем досадливее, что он только что приступил к печатанию в Петербурге отдельным изданием своего «Героя нашего времени». Уже на Кавказе прочел он о своем романе большую критическую статью Белинского. Восторгаясь поэтическим и искусным изложением «повести», критик замечает, что «каждое слово в ней так глубоко знаменательно, самые парадоксы так поучительны) каждое положение так интересно, так живо обрисовано! Слог повести — то блеск молнии, то удар меча, то рассыпающийся по бархату жемчуг!»

Вскоре вышла из печати и небольшая книжка стихотворений Лермонтова. После Пушкина ни один сборник стихов не возбуждал такого общего внимания. Журналы, в которых Лермонтов не печатался, старались, правда, умалить его значение; но голос Белинского заглушил опять все остальные. Обещая вскоре подробнее поговорить о новой книжке, Белинский в небольшом библиографическом отзыве указывал читателям «на алмазную крепость и блеск стихов» молодого поэта, «на дивную верность и неисчерпаемую роскошь поэтических картин». «Кроме Пушкина, — говорил он, — никто еще не начинал у нас такими стихами своего поэтического поприща и так хорошо не олицетворял мифического предания об Ираклe, который еще в колыбели, будучи дитятею, душил змей зависти».

Тосковавшая в своей деревенской глуши по внуку, старушка Арсеньева, все более дряхлея и опасаясь, что никогда уже не увидит своего любимца, который между тем участвовал в битве с чеченцами под Валериком (описанной им в большом стихотворении), не переставала осаждать просьбами разных высокопоставленных лиц — дать ей хоть перед смертью благословить Мишеля. Желание ее в некоторой степени было удовлетворено: поэту разрешили отпуск в Петербург, куда он и прибыл в феврале 1841 года. Но, по причине небывалой

распутицы, самой Арсеньевой не было никакой возможности выбраться из своих Тархан, и, таким образом, ей, бедной, уже не суждено было увидеть дорогого внука.

По уверению известной поэтессы графини Растопчиной, с которою Лермонтов за три месяца последнего пребывания своего в Петербурге встречался очень часто, — в высшем обществе поэта просто на руках носили, и, балуемый всеми, он был в самом счастливом, шаловливом настроении духа.

> *«Однажды он объявил, что прочитает нам роман под заглавием „Штос“, — рассказывает Растопчина, — причем он рассчитал, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати. Наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой. Принесли лампы, двери заперли и затем начинается чтение. Спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне. Написано было около двадцати страниц, а остальные в тетради — была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен».*

Когда, после Пасхи, с окончанием отпуска, Лермонтов, так и не дождавшись бабушки, должен был вернуться на Кавказ, тяжелое предчувствие вдруг овладело им, и весь вечер накануне отъезда он говорил о том, что скоро погибнет насильственною смертью.

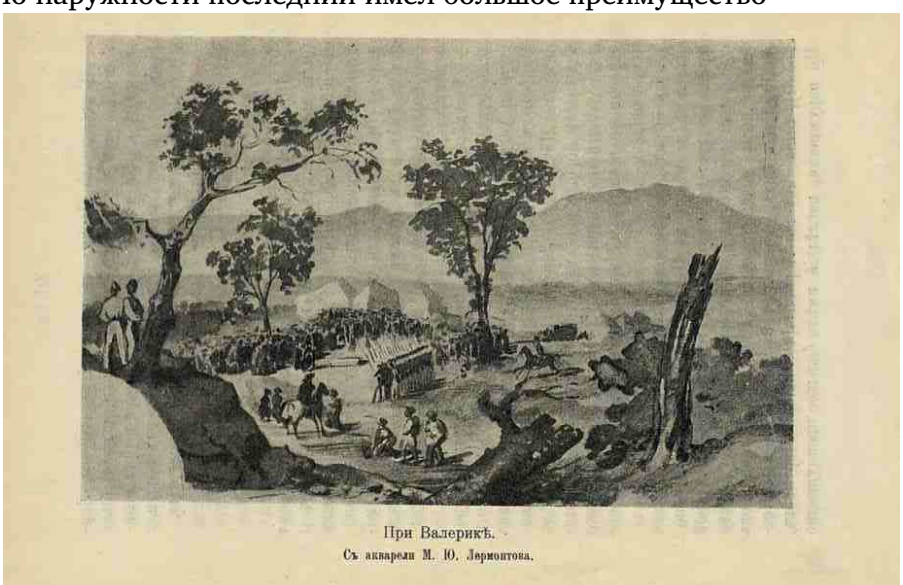
Предчувствие его не обмануло.

# XIII

Поединки, особенно людей военных, в то время были в большом ходу. А тут двоюродный брат и лучший друг Лермонтова, Столыпин-Монго, побывав за границей, привез еще оттуда книгу «Manuel du duelliste» («Руководство для дуэлянтов»). Книга эта, конечно, была и в руках Лермонтова, и должна была еще подкрепить в нем ложное представление о «рыцарском» значении поединков.

Рассказывают, что в Петербурге Лермонтов просил руки одной девицы, Мартыновой, но получил от отца ее уклончивый ответ. Взяв с собой от старика Мартынова письмо к его сыну, отставному майору, жившему в Пятигорске, Лермонтов будто бы не утерпел и вскрыл дорогою письмо, а затем изорвал его, раздосадованный прочтенным. В душе же поэта с этого времени ко всей семье Мартыновых сохранилась затаенная неприязнь.

К вражде с майором Мартыновым у Лермонтова оказалось на месте, в Пятигорске, еще другое основание. В гостеприимном доме генеральши Верзилиной собиралось все местное офицерство, привлекаемое тремя миловидными дочерьми дома. В числе поклонников младшей из них, пятнадцатилетней Нади (Надежды Петровны), были также Лермонтов и майор Мартынов. По наружности последний имел большое преимущество



При Валерикѣ.
Съ акварели М. Ю. Лермонтова.

перед своим соперником: он был высок, строен и хорош собой. В цветной черкеске из лучшего черного, белого или серого сукна, с ловко откинутыми рукавами, в шелковом цветном же

архалуке, в молодецкой черной или белой папахе, с длинным чеченским кинжалом на серебряном поясе, он был, ни дать ни взять, джигит-чеченец. Каждый день в новом щегольском наряде он являлся всегда как бы новым человеком, и неудивительно, что молоденькая девушка отдавала ему явное предпочтение перед довольно невзрачным на вид Лермонтовым. Поэта нашего это страшно бесило, и он при всяком удобном и неудобном случае передразнивал Мартынова, издеваясь над ним, чтобы выставить его перед девушкой в возможно невыгодном свете.

Раз Мартынов надел на себя вместо одного два кинжала. Лермонтов не замедлил подтрунить нам ним:

— Как ты хорош, Мартынов: точно два горца!

Мартынов сдерживался; но наконец, как говорится, чаша долготерпения его переполнилась. Однажды у Верзилиных были опять танцы. Младшая хозяйская дочка весь вечер танцевала с Мартыновым, и донельзя раздраженный этим Лермонтов вовсе отказался от танцев. К концу вечера, сидя за открытым ломберным столом, за которым перед тем играли в карты, он стал рисовать что-то по зеленому сукну мелком. Окончив свой рисунок, он закрыл крышку стола и, подойдя к младшей Верзилиной, попросил ее взглянуть на рисунок. Когда он поднял перед нею крышку стола, она увидела нарисованную с большим старанием свою собственную хорошенькую курчавую головку, а рядом — мартышку, очень похожую на Мартынова, с откинутыми по-черкесски рукавами и длиннейшим кинжалом за поясом.

— Вы — злой гений и сходите с ума! — воскликнула девушка. — Пожалуйста, оставьте меня в покое!

И в слезах она убежала в свою комнату. Следивший за обоими Мартынов быстро подошел к ломберному столу;

Лермонтовскій гротъ въ Пятигорскѣ.
Съ картины Г. П. Кондратенка.

но Лермонтов успел уже стереть щеткой рисунок и захлопнул крышку.

Когда оба они затем вышли на улицу, между ними произошло резкое объяснение, окончившееся вызовом на дуэль.

Но казалось, что и на этот раз дело обойдется. Два доброжелателя Лермонтова — полковник Мезинцев и генерал князь Голицын, при помощи доктора Реброва успели убедить поэта на следующее же утро для поправления расстроенных нервов перебраться в Железноводск. Прошло несколько дней. Но тут у князя Голицына (15 июля 1841 года) был назначен бал. Приятели двух врагов, желая примирить их, устроили так, чтобы они в одно время съехались в немецкую гостиницу в колонии между Железноводском и Пятигорском. На беду, однако, сами приятели запоздали, и два врага, встретясь с глазу на глаз, с первых же слов условились не откладывать уже дуэли. В пять часов вечера того же дня они сошлись на жизнь и смерть под Машуком. Напрасны были все увещевания секундантов. Сама природа будто протестовала против такого добровольного смертоубийства: разразилась гроза. За громовыми раскатами не

было слышно выстрела Мартынова. Но Лермонтов вдруг вздрогнул, покачнулся и, медленно падая, также спустил курок, причем, естественно, промахнулся. Когда же бросившиеся к упавшему секунданты наклонились над ним, он был уже мертв. Тело его было похоронено сперва у подножия Машука, но несколько месяцев спустя его перевезли в имение бабушки поэта в Тарханы. Безутешная старушка сама только на восемьдесят пятом году жизни успокоилась также навеки.

В то самое время, когда часы Лермонтова были уже сочтены, в отдаленном Петербурге, куда не дошла еще весть о его кончине, все образованное общество зачитывалось новою большою критическою статьею Белинского, в которой делалась всесторонняя оценка таланта молодого поэта. Воодушевленный лермонтовской музой, знаменитый критик наш ни раньше, ни позже не высказывался с таким увлечением о высоком значении поэзии и поэта. Не можем отказать в удовольствии и себе, и (надеемся) читателям — привести здесь, хотя в извлечении, из статьи Белинского следующие превосходные строки:

> *«Поэзия есть выражение жизни или, лучше сказать, сама жизнь. Мало этого: в поэзии жизнь более является жизнью, нежели в самой действительности. Поэзия не описывает розы, которая так пышно цветет в саду, но, отбросив грубое вещество, из которого она составлена, берет от нее только ее ароматический запах, нежные переливы ее цвета и создает из них розу, которая еще лучше и пышнее… Весь мир, все цветы, краски и звуки, все формы природы и жизни могут быть явлениями поэзии; но сущность ее — то, что скрывает в этих явлениях, живит их бытие, очаровывает в них игрою жизни. Поэзия — это биение пульса мировой жизни, это ее кровь, ее огонь, ее свет и солнце.*
>
> *Поэт — благороднейший сосуд духа, избранный любимец небес, тайник природы, золотая арфа чувств и ощущений, орган мировой жизни… Это — организация восприимчивая, раздражительная, всегда деятельная, которая при малейшем прикосновении дает от себя искры электричества, которая болезненнее других страдает, живее наслаждается, пламеннее любит, сильнее ненавидит — словом, глубже чувствует… Уже по самому устройству своего организма, поэт больше, чем кто-нибудь, способен вдаваться в крайности и, возносясь превыше всех к небу, может быть, ниже всех падает в грязь жизни. Но и самое падение его не то, что у других*

*людей; оно — следствие ненасытной жажды, а не животной алчбы денег, власти и отличий… Когда он творит — он царь, он властелин вселенной, поверенный тайн природы, презирающий в таинства неба и земли, природы и духа человеческого; но когда он находится в обыкновенном земном расположении — он человек, но человек, который может быть ничтожным, но никогда не может быть низким, который чаще других может падать, но который так же быстро восстает, как падает, — который всегда готов отозваться на голос, несущийся к нему от его родины — неба…*

*Пока еще не назовем мы его (Лермонтова. — В.А.) ни Байроном, ни Гете, ни Пушкиным, — говорит критик в конце статьи, — и не скажем, чтобы из него со временем вышел Байрон, Гете или Пушкин, ибо мы убеждены, что из него выйдет ни тот, ни другой, ни третий, а выйдет — Лермонтов».*

Увы! Тем Лермонтовым, которым ожидал увидеть его со временем Белинский наряду с Байроном, Гете и Пушкиным, поэту не довелось сделаться, потому что молодая жизнь его в то время уже пресеклась.

При последнем проезде Лермонтова через Москву на Кавказ, князь Вл. Фед. Одоевский вручил ему записную книжку с надписью: «Поэту Лермонтову дается эта книга с тем, чтобы он возвратил мне ее всю исписанную. К.В.Одоевский. 1841, апреля 13-е».

Только в декабре 1843 года князь Одоевский получил обратно свою книжку от родственника покойного, Хостатова. В ней оказалось двенадцать законченных стихотворений, перлов поэзии, набросанных сперва карандашом, а затем перебеленных чернилами самим поэтом. Стихотворения эти были: «Спор», «Сон», «Утес», «Они любили друг друга», «Тамара», «Свидание», «Дубовый листок оторвался», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Выхожу один я на дорогу», «Морская царевна» и «Пророк». (Одно французское стихотворение, написанное карандашом, до того к сожалению, стерлось, что разобрать его не оказалось никакой возможности.)

Не удивительно ли, что, подобно тому, как лебединою

Памятникъ М. Ю. Лермонтова на Пятигорскомъ городскомъ кладбищѣ.

песнью Пушкина был его «Памятник», так и Лермонтов, шедший по стопам Пушкина и не успевший еще создать себе такого же вековечного памятника, но уже чуявший в себе достаточно сил, чтобы сделаться народным «пророком», завершил свою литературную деятельность стихотворением «Пророк»!

По образному выражению Белинского, Лермонтову суждено было «проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю света и благоухания — и исчезнуть во всей красе своей»… Но и теперь, полвека по его кончине, нет в России ни одного мало-мальски образованного человека, который не знал бы наизусть «Пророка» и многих других стихов Лермонтова, неувядаемых по их силе и свежести, неподражаемому изяществу и безупречной красоте.

1914

**notes**

# Примечания

# 1

В первой русской грамоте на имя Ю.А. Лермонта фамилия его неправильно написана Лермант; в последующих же грамотах этого семейства а перешло опять в о: Лермонтов.

# 2

Тетрадь из которой помешена эта поэма, озаглавлена печатными буквами: «Кавказский пленник», сочинение М.Лермонтова, Москва, 1828 г. Заглавный лист украшен виньеткой, представляющей лиру между двух венков, по обе стороны от которых по стрелке внизу написано: «Черкесы»; под этим нарисованы груда ядер, а еще ниже — накрест сложенные пистолеты.

# 3

Вы — Иван, вы — Яковлевич, вы рыжи, вы глупы — и тем не менее вы не Жан-Жак Руссо.

# 4

Толстые пахитосы в маисовой соломе.